

АНДРЕЙ БЕЛЬЙ И ПСЕВДОНАУЧНАЯ ЛЕГЕНДА О СВЯЗИ ГЕНИЯ И ПОМЕШАТЕЛЬСТВА

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, 1880—1933) не был ни гением — хотя он, несомненно, был натурой гениальной, — не был он, конечно, и помешанным — хотя комплексов, и, вообще говоря, патологии в нем был непочатый угол, а здоровье его нравственного чувства, наличие в нем совестливости могут быть подвержены сильному сомнению. Был он, подобно многочисленной категории душевно больных, человеком очень опасным, с которым лучше всего было не иметь дела, и от которого в любой момент можно было ожидать чего угодно. Он, можно сказать, был насыщен хлестаковщиной и ноздревщиной — правда, самого высокого качества, — и с кем он ближе всего сходился, тому больше всех, как правило, и насаливал. И все же, скорее к нему подходило определение бесноватого и одержимого, чем безумного. Ответственным же он был за свои поступки и проступки вполне — и потому мог быть с полным основанием назван «личностью нерукопожатной», после беседы с которым хотелось принять ванну, служить молебен с экзорцизмом, просить прощения у Бога и людей и т. п. Можно смело сказать, что степень его одаренности равнялась степени его деформированности.

Очень тревожно то обстоятельство, что он был одной из характернейших и в своем роде одной из самых блестящих и интересных фигур русского Ренессанса между двумя революциями. Этим обстоятельством духовное здоровье и онтологическая прочность и доброкачественность самого Ренессанса оказываются взятыми под сомнение. Конечно, и в Ренессансе общеевропейском, особенно в итальянском и французском, было много темного, даже бесовского, что вызвало к бытию страдальческую фигуру

«Ночи» Микель-Анджело с его всем известной надписью, великолепно переведенной Тютчевым на русский язык:

Молчи! Прошу тебя, не смей меня будить
О в этот век жестокий и преступный!
Не жить, не чувствовать — удел завидный.
Отрадней спать, отрадней камнем быть.

Заискивание, обесчещивание, улюлюканье — вот как можно определить отношение Андрея Белого к Родине и к людям — и это сменялось с калейдоскопической и совершенно немотивированной быстротой и без всяких разумно определяемых оснований, совсем как у некоторой категории безумных, хотя, повторяем, безумцем в настоящем смысле он не был, знал, что делает и как делает, и еще лучше того знал, «где раки зимуют».

Впрочем, таких лиц среди так называемых «пишущих» всегда было достаточное количество, и представители этого мира различались между собой не только моральными качествами, сколько степенью одаренности. Обе войны и революции (коммунистическая и нацистская) только послужили крепкими реактивами, способствовавшими особенно яркому выявлению подобного рода физиономий.

Даже никогда, по видимому, с Андреем Белым крупно не ссорившийся Ходасевич в сущности не знал, как обходиться с этим полумистическим полуруштом гороховым и ходил в своем «Некрополе» вокруг да около Андрея Белого «как кот возле горячего самовара» (острота А. В. Карташева), а в заключении объявил: «По некоторым причинам я не могу сейчас рассказывать о Белом все, что о нем знаю и думаю»... Вряд ли этот «эллипсис» можно считать комплиментом для «Котика Летаева»... Не думаю, чтобы и боготворители Рудольфа Штейнера очень много выиграли от полуприставшего к ним полуученного, полуфилософа и полуантропософа...

Не много выиграл и отец Андрея Белого, профессор Московского университета, настоящий большой ученый мирового калибра и настоящий философ-лейбницианец, оттого, что в истории новейшей русской литературы люди беззаботные по части точной науки вычитают, что он — Николай Васильевич Бугаев, друг и почитатель Чайковского, — оказался сверх того и отцом полунаиняного полу-

атеиста и настоящего кощунника полубольшевика... Но и большевикам полубольшевики тоже не на руку...

Известно, что дары наследуются не от отцов, но от матерей. От матери Борис Николаевич унаследовал скоро преходящую, «линчющую» красоту и взбалмошный истерический, совершенно невыносимый характер. Но от отца, кажется, ничего не унаследовал, ибо и ученость Андрея Белого была не настоящей, но какой-то поддельной, полумошенннической, натасканной из словарей (например, из «Философского словаря» Рудольфа Эйслера), да и вообще отовсюду, куда заглядывали его бегающие полубесстыжие глаза, как правило — всегда из вторых и третьих рук, но *никогда* не из прямого чтения и изучения предмета, отчего он считал себя освобожденным на правах «гениальности», — так же, как в силу обладания этой полумифической полугениальностью он считал себя избавленным от скучной обязанности быть порядочным человеком и рукопожатной личностью. Одним словом, Андрею Белому как нельзя более подходили слова щедринского Степки Балбеса (из «Господ Головлевых»):

«Гнездилась в нем проклятая талантливость и всему мешала»...

Но настоящего дерзания, настоящего творческого громождения Пелиона на Оссу в нем никогда не наблюдалось, да и быть никогда не могло: он был нагл и дерзок, но никогда не силен (и тем более — не «атлетичен»), никогда не дерзновенен... Да и то единственное, на чем он выезжал и что его всегда большей частью вызывало, — интуитивная догадка — скорее походило на какое-то «чревовещание», а не на настоящую глубинную интуицию... О настоящей глубине у Андрея Белого не может быть и речи — он ее не хотел, панически боялся ее и гнал ее от себя вместе со всякой мыслью о Боге, и все кончилось тем, что Бог оставил Андрея Белого вместе с подлинной глубинной интуицией, да и с очень значительной частью разума, превратив автора «Серебряного голубя» в бесноватого мизолога (ненавистника Логоса), о чем тот, впрочем, весьма мало скорбел — уже по той простой причине, что, подобно многим истерикам, был самовлюблен до последней степени и, в сущности, всю свою жизнь, начиная с первых проблесков сознания, любил только самого себя, был тем, что можно назвать в терминах Юнга болезненно интровертированным типом, интересующимся только самим собою и теми «импрессия-

ми», которые мир «не я» производил на него. Он, выражаясь образно, вращался вокруг самого себя, иногда с головокружительной и комической быстротой, вызывавшей порою недобрую жуть.

Запущенный куда-то как попало,
Жужжит, бежит, торопится волчок.

Этого типа запущенные волчки начинают петь и гудеть, забавляя детей, а подчас и взрослых. Дети ничего не поймут в Андрее Белом. Несмотря на то, что в детстве он, говорят, был очаровательно красивым ребенком-«вундеркиндом», детской души, по-видимому, в нем было столько же, сколько в Викторе Чернове; оба были «левыми эсерами», но все же разница была та, что Андрей Белый был близким к гениальности поэтом, писателем и мыслителем об искусстве слова, — Чернов же даже говорил, словно хрюкал, и брюхо у него было из семи овчин сшито, в то время как Андрей Белый был очень музыкален и «хореографичен»; может быть, ему вообще следовало родиться музыкантом или танцором. И все же, он, автор «Симфоний», «Кубка мятелей» (ср. Блоха), «Золота в лазури», «Петербург», «Серебряного голубя», «Москвы под ударом», «Котика Летаева», «Символизма», «Арабесок» и еще много другого, очутился в компании «русских» народников, да еще левых эсеров, с каким-нибудь «Минором», требовавшим в пребездарнейших «Путях освобождения» (может быть «путях порабощения» — на деле ведь вышло именнотак) еще летом 1917 года запретить исполнение Глинки, — который написал, видите ли, крамольную с точки зрения бомбистов оперу «Жизнь за Царя»... Да, как в этой компании очутился «Котик Летаев»?

Конечно, у артистов, особенно в наше время, далеко не всегда все обстоит благополучно по части как ума, так и сердца; конечно, Андрей Белый, тяжелый истерик, нравственно помешанный и стоявший все время на грани настоящего «классического» помешательства, не всегда мог разбираться в том, чего, собственно, ему хочется и куда его тянет, — а судьба действительно бросила его на жуткое перепутье с ведьмами и чертями и дала ему глотнуть до дна «Кубок мятелей», не без ядовитой и таинственной, трудноопределимой приправы... Все это так. Но есть и нечто вполне определимое и жуткое в своей несомненности.

О чём гудит «запущенный куда-то как попало» «волчок», и о чём воет «Кубок мятёлей» у Котика Летаева?.. Прислушаемся!

Довольно! Не жди, не надейся,
Рассейся, мой бедный народ.
В пространстве пади и разбейся,
За годом мучительный год.
Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!

Стихи превосходны, звучны, хорошо инструментованы, под ними распишется любой классик... Но не этого, конечно, было нужно «торжествующим свиньям» — в стихах они столько же смыслят, сколько и в апельсинах. «Торжествующим свиньям» и их поросятам нужно не «как» («das Wie») — это всегда полагается в искусстве, — но «что» («das Was»). А «что» — здесь вполне конкретное, отчетливое, определенное и никаких «расшифровок» (по Ясперсу, или по какому-нибудь другому экзистенциалисту) не требующее, ибо вопреки безграмотной «новой орфографии» здесь все точки на «і» поставлены.

Речь идет о том, чтобы силой поэтических заклятий, здесь обращающихся в настояще «чернокнижие», начисто рассеять, то есть, в конце концов, уничтожить (по-сталински! например, «раскулачиванием») Русский Народ, а следовательно, уничтожить и Россию.

Это называется стопроцентное выполнение и даже перевыполнение программы русской революций, как ее задумали в 1917 г. и уже раньше народники и большевики. Это должно было с логической последовательностью осуществиться за свержением Монархии и убиением Монарха — здесь все нераздельные части программы, по которым, кажется, между русскими «левыми» раскола никогда не бывало. Но эта тема очень важная, требующая особой трактовки, равно как и тема участья поэтического чернокнижия в деле вызова «легиона бесов», которых задача — превратить сначала русский народ в стадо бешеных (и глупых, и трусливых) свиней, а потом отправить их на чекистскую бойню...

Достоевский в «Братьях Карамазовых» поставил со всею отчетливостью, на какую только был способен этот гигантский ум, вопрос о цене билета для «входа в гармонию». Обнаружилось, что цена такого билета бывает в предельно важных случаях — «не по карману»... Поэтому и здесь позволительно спросить — по карману ли России и русскому народу, которым, как никак, Котик Летаев обязан своим существованием (как и многие другие наклонные к чернокнижию русские поэты, артисты и мыслители) — по карману ли русским женщинам и детям и, например, такого рода строителям (настоящим!) русской культуры, каким был отец Бориса Николаевича, — покупать ценой собственной жизни пару другую звучных стихов? Этот вопрос можно было в свое время поставить и другим этого калибра поэтам — также и в эмиграции — щадим их память...

Чернокнижное заклятие, ведь, не что иное, как молитва, обращенная к бесу и «аггелам его»... Как в свое время остро заметил проф. кн. Н. С. Трубецкой, молитвы бывают разные и всякая молитва может быть услышана, только вопрос — кем? О молитвах Богу в стане русского «Ренессанса» мы что-то слышим мало, а сказать по правде — совсем ничего не слышим. Зато молитв бесу — прямых и косвенных — хоть отбавляй... Очевидно, не молиться — невозможно и остается повторить вопрос кн. Н. С. Трубецкого — «кому молиться»? Хорошо по этому поводу сказал проф. Ф. Ф. Зелинский: «Где нет богов — там реют привидения». Не оттого ли, что природа духовная, в еще большей степени чем природа материальная, «не терпит пустоты»? И мы именно за долгие годы бесовской революции успели в этом слишком убедиться.

Андрей Белый походил на тех ярко расцвеченных мух и других блистающих всеми цветами радуги тропических тварей, которых, однако, с неодолимой силой тянет на мерзость и смрад... И уже по одному этому он не мог не быть в компании с безбожниками, бомбистами, чекистами, извращенцами... Конечно, многие произведения Андрея Белого доставляют по сей день очень большое и прямо жгучее наслаждение. Но мы давно уже (мы — человечество) знаем, из книги поострее книг Белого — из Иоаннова Откровения, что после съедения некоторых писаний переживается невыносимая горечь и отвращение во всем существе нашем — как бы ни были эти писания сладостны и жгуче пряны для нашей гортани... Есть много наслаждений, которые обходят-

ся слишком дорого... Эпикур советовал такие наслаждения, которые длительны, остры и не вредят здоровью. Этому условию удовлетворяют только духовные наслаждения. Наслаждения, доставляемые стихами и прозой, и мыслью очень многих «возрожденцев» (включая и Белого), несомненно, остры. Но уже их длительность остается под сомнением. Что же касается вреда — то тут вопроса и ставить не приходится. Они не только очень вредят, но не могут не вредить, ибо исходят из поврежденной души и, что особенно тягостно, — из поврежденного сердца, неспособного любить... Впрочем, «любовь» ныне как и не в столь далеко ушедшее от нас времена Андрея Белого понимается по-разному, да и оттенков здесь столько же, сколько субъектов и объектов любви...

Таким бесконечным числом оттенков сверкает роман Андрея Белого «Серебряный голубь». Его можно было бы назвать гениальным, если бы не крайняя изломанность и вычурность стиля и не языковое манерничание, которое мешает его блестящему автору сделаться великим мастером стиля — а в подобного рода произведениях, и в наше время более чем когда-либо, вопрос хорошего стиля делается насущным в искусстве.

Роман «Серебряный голубь» мог бы быть назван, если угодно, народно-национальной эпопеей, если бы автор опять-таки не выдвигал так, не «выпячивал» так свою манеру. Кроме того, здесь Андрей Белый взялся за тему, где у него имеются два опаснейших соперника: Мельников-Печерский и Лесков. Изучение среды и опыт личного общения с народом в самых скрытых и труднодоступных слоях его этнографического массива и его экзистенции Андрей Белый заменил интуицией — и из этого видно, как велик был его дар, особенно приняв во внимание трудность такой темы, как русское хлыстовство и корни русского «дионисизма».

Построение этого шедевра и единственного в своем роде явления в лоне большого русского романа — чрезвычайно сложно и прихотливо. Но благодаря царящему в романе так сказать монотематизму (роман вообще очень музыкален) и «проводению», тоже весьма аналогичному проведению в симфониях и симфонических поэмах, «Серебряный голубь», — несомненно, явление новое, в нем форма романа двинута вперед и очень усовершенствована. В этом смысле Андрей Белый навсегда вошел в историю русской литературы. Оба романа и оба тома теоретических статей

Андрея Белого («Символизм» и «Арабески»), несмотря на все их недочеты, вызванные трудностями духовного уклада их автора, таинственными нитями связаны с глубинными пропастями и кавернами русского духа; поэтому невозможно писать «Историю русской философии» выключая творчество и духовный мир Андрея Белого. Ему здесь, может быть, придется занять место ниже своего блестящего отца, Николая Васильевича Бугаева — русского лейбницианца и блестящего математика — но все же свое место в истории если не русской философии в узком смысле, то во всяком случае русского миросозерцания и русской литературы Андрей Белый держит крепко, и отнять это право у него невозможно.

Кроме того, Андрей Белый имел особый дар, свойственный лишь избранным натурам, — «видеть на печатную сажень под землею», как выражается русский народ. Другими словами, он видел то, чего другие не видят, и останавливался там и в тех местах, мимо которых, как правило, обычные люди, даже очень интеллигентные и образованные, проходят равнодушно.

Сюда надо отнести, помимо разного рода намеков на метапсихику в обоих романах и особенно в «Серебряном голубе», много разных вопросов и тем, касающихся метафизики языка и его музыки. В этом отношении особенно много дает его небольшая книжечка под заглавием «Глоссолалия». В ней Андрей Белый в XX веке и в секулярном плане проводит очень важную тему, до сих пор не решенную комментаторами посланий св. ап. Павла.

Дело в том, что в состоянии высших и напряженных форм экстаза, главным образом религиозно-мистического, как у язычников, так и у христиан наблюдается совершенно особый феномен, названный самим св. ап. Павлом «глоссолалией», а св. ап. Марком образным выражением «будут говорить новыми языками» (Марк. 16, 7). Обычно принято под этим разуметь относительно естественный феномен глаголания на языках существующих, но до данного момента неизвестных тому, кто внезапно и чудесным образом заговорил на них. Однако есть, несомненно, и другой феномен, к которому собственно и относится термин «глоссолалия» — это глаголание на языках абсолютно новых, которые можно и должно при особых обстоятельствах назвать не только человеческими, но и ангельскими (I Кор. 13, 1).

Это особые языковые феномены для выражения идей, чувств и переживаний, которые недоступны обычной членораздельной речи.

Возможно, что пришедшие в экстаз или энтузиастический восторг лица даже сочетают в своей речи как обычный человеческий язык, так и ангельскую глоссолалию. Об этом говорит только что процитированное I-е послание к Коринфянам и то место «Деяний Апостольских», где люди плоские, плотские («гилики») издеваются над пришедшими в экстаз:

«А иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2, 13).

Совершенно ясно, что речь идет здесь о непонимании и, может быть, неприятии и нежелании принять то, для чего нужно отверзие особого слуха, приспособленного для слушания тех глаголов, «их же не леть человеку глаголати».

И еще:

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может» (I Кор. 2, 14—15).

Всем известно, что даже обычный, так называемый технический язык, например, науки, философии и богословия, математики и проч., людям ему не выучившимся может показаться не только чем-то неподобным, но даже и стоящим на грани безумия. Но и обратно — для людей долго живших в атмосфере так сказать «ниже здравого смысла», например, в атмосфере тоталитаристического безумия, человек здоровый и трезвый может показаться безумным и неподобным. После откровений Тарсиса всем должно быть ясно, о чем тут идет речь.

Когда возникает какая-нибудь новая отрасль в науке или философии, или когда какому-нибудь некомпетентному, но гордому и самоуверенному лицу (хотя бы и скрывающему свою гордыню под личиной смиреннолукавства) приходится слышать то, о чем он никогда не слыхал — будь это весть старая как мир (например, учение о Хохме-Софии, Премудрости Божией), такие лица чувствуют себя глубоко уязвленными в своей гордыне (пусть смиреннолукавой) и начинают поносить якобы «новое» учение и взваливать на плечи тех, кто им осмеливается интересоваться, нивесть какие обвинения, хотя сами тут же впадают в уже настоящие заблуждения и лжеучения. Это, несомненно, то же самое, что слу-

чилось с глоссолалией времен апостольских, которую св. ап. Павел по вдохновению свыше счел нужным взять под свою защиту.

Тема эта чрезвычайно трудна, не только по той причине, что людей с подлинно духовными дарами и подлинно духовной утонченностью *чрезвычайно* мало, но и еще по той причине, что слишком много таких, которые считают себя «духовными» на том лишь основании, что стараются не есть мяса по средам и пятницам и не слишком засматриваются в специфическом смысле...

Не надо при этом забывать, что *глоссолалия* и особенно *символическая глоссолалия* есть неизменный спутник настоящего искусства слова. С этим и связана *главная и бессмертная заслуга Андрея Белого как в теоретическом плане, так и в плане художественных реализаций*.

На этих путях Андрей Белый нашел единомышленников в лице прежде всего такого гиганта, как Отец Павел Флоренский, а затем такого крупного ученого, как проф. Н. Коновалов, автор интересующей нас в данном случае книги «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве» (М., 1909).

Несомненно, это, так сказать, та «дочленораздельно-речевая» подпочва, из которой возник язык и в которой действует преимущественно и со всею мощью элемент, или, вернее, элементы дионаисического порядка, потом уже оформляемые логико-членораздельной силой творящего Логоса (творение всегда есть оформление, разрушение же начинается с искажения, уродования, деформации, уничтожения и попрания формы и смысла).

Стихия Андрея Белого по преимуществу *дионаисическая*, если угодно — по симпатиям и по бессознательным и подсознательным стихийным влечениям *исключительно дионаисическая*, которая в русских условиях, а тем более в условиях *имперско-церковных*, в условиях соединенных творческих оформляющих сил трона и алтаря превращается в *атеизм и анархию*, в *разрушительный танец*, сопровождаемый *нечленораздельными примитивно-глоссолаическими воплями*, — тем, чему св. ап. Павел не покровительствовал, ибо его слова о «тайне беззакония в действии» и о «взятии удерживающего» — что и случилось в России — уже явно относятся к плану господства зверя и лжепророка. А к этому Андрея Белого тянуло с неотрази-

мою силою. Это и легло в основу его близких к гениальности, хотя мрачной и зловещей, обоих романов — особенно «Серебряного голубя».

Этот последний и словно в дополнение к нему написанный теоретический очерк о глоссолалии хочется перечитывать постоянно — верный признак очень большого дарования...

Заметим тут кстати, что когда мы говорим «почти гениальные» или «стоящие на границе гениальности» романы и теоретические очерки, мы этим «почти» не уменьшаем силы громадного дара Андрея Белого. Мы только хотим сказать, что в его натуре было нечто такое, что мешало ему творить и мыслить *доделывая* мыслительскую и художественную работу до конца, — и это в особенной степени в области мысли и теоретической работы, где его небрежность подчас возмутительна и превращается в прямое издевательство, как над ничего не смыслящей в этой «материи» большой публикой, так и над компетентным и понаторевшим в деле специалистом...

В стихах и в прозе, то есть в прямом художестве, ему эта небрежность и этот беспорядочный «пилизм» обычна сходил с рук, потому что его природная артистическая одаренность брала в лоб порою самые большие трудности, и он из них выходил победителем — а «победителя не судят» (хотя библейские пророки только и делали, что судили победителей). Но и здесь ему не всегда и не все сходило с рук: на одном дионаисизме, пилизме и сивиллиных вещаниях не всегда выседешь, — даже если находиться с этого типа богами и богинями в отношениях «запросто», этого далеко не всегда достаточно, не говоря уже о том, что «пиции» и «сивиллы», как существа женского порядка, весьма наклонны к изменениям. Поэтому всецело доверяться им в художественно конструктивной работе никак нельзя. Вообще «Моцарт-гуляка праздного» существует только в завистливом воображении пушкинского Сальери. Если Моцарт

В час отдохновенья
Подъемля потное чело

иной раз попляшет с красоткой или хлебнет лишнее, это совсем еще не значит, что у него только и дела, что плясать и пить... Как раз наоборот. И остается удивляться, что такой

ветреный человек, как Андрей Белый, такой по природе дурно-рассеянный автор мог вообще что-то сделать, и притом не малое и навсегда оставшееся в истории как русского искусства, так и русской мысли...

Роман «Серебряный голубь» прежде всего преследует и в общем удачно разрешает многопланную языковую задачу. В романе каждый класс и каждый представитель класса или клана говорит своим ему языком, а сверх того на романе в целом лежит яркий отпечаток языкового гения самого автора и притом — для данного случая *ad hoc*. Андрей Белый, как этого и следует ожидать от него, в языке — прорециден. Далее очень удачна многопланность и сочетание судеб действующих лиц. Русская безымянная и безликая народно-хлыстовская стихия, как удав с раскрытым пастью, ждет жертв и именно из высшего, даже более чем высшего — из элитного общества: молодой ученый, античный филолог Дарьальский и его прекрасная, грациозная и очень духовная невеста Катя — самого лучшего общества. Дарьальский любит Катю высшего типа страстным чувством, в котором соединились культурные отборы, фильтруемые веками, и Катя отвечает ему такой же всесторонней взаимностью... Однако, жена столяра-хлыста Елена, рябая, грубая и некрасивая, с поразительной легкостью, подчиняясь «социальному заказу» хлыстовского «корабля», отирает Дарьальского у Кати и в сущности уничтожает его и ее. Дарьальский же кроме этой победы над ним должен претерпеть еще две другие: его, утонченнейшего греко-римского филолога, как будто по роду специальности не могущего иметь с «народом» ничего общего, опрощают, а потом, за «негодность», убивают — да еще и как!

— Это я его собственной палкой, — говорит его палач, медник Сухоруков, скручивая цыгарку... Выясняется, что так называемый «народ», вопреки вздорным народническим фантазиям, от искушений и испарений которых не устояли такие грандиозные натуры, как Достоевский, Толстой и славянофилы с Герценом, — этот самый «народ» умеет при случае обернуться бесовским убийцей и безбожником-пошляком — такой «мертвой душой», какой и у Гоголя поискать... Не блещущий честностью Андрей Белый оказывается здесь, как первоклассный художник, вполне честным и не щадит темных красок для изображения так называемого «народа», вернее, эти густые и зловещие тени у него в порядке живописа-

ния и повествования получаются сами собою — а это и есть первый признак настоящего большого дара. Однако карикатурно-клеветнических и потому все же антихудожественных приемов в живописании духовенства и так называемых «кулаков» Андрей Белый не избежал, да и не мог избежать по свойству своей личности — об этом приходится горько сожалеть по причине порчи такого шедевра. Зато некоторые побочные лица — товарищ Дарьяльского, его друг астролог, бабушка Кати — все это фигуры, выписанные твердой и уверенной рукой и отнюдь не в порядке того «модернизма», который кичится тем, что не умеет написать ушей, носа или глаз... Поистине —

Чем хвалится безумец!

Тут нельзя не вспомнить и басни о «Лисице и винограде», и знаменитого места в «Маске» А. П. Чехова:

— А вы, господин Жестяков, трезвенник потому только, что вам выпить не на что?

Впрочем, мы живем во время, когда и умеющие рисовать и писать художники вынуждены ломать свой дар и создавать уродливые и бессмысленные анаморфозы только потому, что за это хорошо платят... Но Андрей Белый писать умел, и если у него получались порой пусть и не анаморфозы, но злые карикатуры, так это не от недостатка техники, но скорее от ее чрезмерного избытка...

И если верить «Петербургу», то русский человек — бунтовщик и злодей, а если верить «Серебряному голубю», то русский человек — прелестник и тоже злодей... Впрочем, даже если в обоих случаях от злодея не уйти, то все же выводы или, вернее, вывод напрашивается или «вытанцовывается» сам собой. Если на одном полюсе провозглашается (в сборнике «После разлуки»):

Новая дорога в Назарет:
Бога нет! —

то на другом полюсе обязательно получится «ледяная пустыня, и по ней ходит лихой человек». Это нам уже известно из Достоевского, хорошо показавшего, что бывает на противоположном полюсе безбожия: бывает бесчеловечие, то есть в конце концов злодейство.

Мы не знаем, спроста или неспроста Андрей Белый упорно подчеркивает безбожие и нигилизм палача-медника Сухорукова в «Серебряном голубе»... Вряд ли спроста: у Андрея Белого спроста ничего не делается... Небрежно — да, и сколько угодно! Но только не «спроста».

Но и мы неспроста намекнули на то, что интересующий нас автор не столько пишет свои произведения — художественные и теоретико-философские, — сколько их «вытаптывает»... Танцевать Андрей Белый любил, умел, много проводил времени за танцами, и это, в условиях окружавшей его специфической ауры, даже не было простым времяпрепровождением... Создается такое впечатление, будто «времен от вечной темноты» суждено было случиться роковой ошибке: предназначенню к балету душу первоклассного танцора «воплотили» в тело знаменитого писателя... и получился Андрей Белый, который пишет как танцует и танцует как пишет...

Конечно, злой язык мог бы брякнуть — не танцор и не писатель, «ни то, ни се, а черт знает что» (по Гоголю). Но в том-то и дело, что получалось совсем не «черт знает что», а на проверку и в общей сложности нечто весьма значительное... Только это весьма значительное явление надо уметь читать, расшифровывая и перекладывая на иной язык иного искусства... Их, собственно, два — пение и танец, притом некий священно-ритуальный танец некоего неизвестного нам, и, быть может, тоже всплывшего «времен от вечной темноты» языческого обряда, нашедшего, наконец, для себя некое новое оформление в лице опьяненного танцем и глоссолалией сына математика-философа и красавицы, раскрывшегося как гениальная натура блестящего писателя и поэта...

Это все догадки о темном языке тьмы прошедших веков, доведших нас до нынешнего «положения вещей», попытки расшифровать «парки бабье лепетанье». Это лепетанье иной раз оборачивается для нас «перлом созданья», иной раз лицами и рожами безумных дел и мнений. Среди этих безумных мнений одно из самых безумных то, что творческий гений, воплощающий себя в созданиях палитры, резца, лиры и проч., может выйти из обиталища безумных, самый характерный признак которых тот, что они не только сами ничего дать не могут, но, будучи чадами и жертвами тьмы и разрушения, всюду поселяют тьму, населенную чудовищными призраками, и разрушают все, что попадется им под руку.

Из того, что у так называемого «среднего человека» нет подходящего мерила и подходящего языка, чтобы выразить сверхразумное и безумное, — из этого не следует выводить, что сверхразумное и безумное надо смешивать. И хорошо еще, если это смешение делается не с злобной целью деградировать «то, что велико, и то, что прекрасно», а по недоразумению и по неведению, по невозможности найти язык для того, что гораздо выше «среднего», и для того, что гораздо ниже его.

Андрей Белый — удивительный человек, исключительная натура, которой суждено вмешать и то, что гораздо выше обыкновенного, и то, что гораздо ниже его. Весьма возможно, что его взвихренные танцы, как идеологически художественные, так и хореографического порядка, вытекли даже из одного источника. Если принять догму единства личности, а тем более личности творческой, то иначе себе и представить нельзя. Однако сейчас же по выходе на дневную поверхность этот вначале как будто единый или во всяком случае смешанный и иерархичный поток лавы, извергаемый «огнедышащей творческой личностью», сейчас же разделяется и происходит то отделение металлов от шлаков, которое хорошо известно всем металлургам... Это есть тот же самый процесс, который неоднократно упоминается в Св. Писании Нового Завета под символом отсеивания зерна от шелухи. Шелуху («клиппот») каббалистическая письменность склонна даже низводить до степени бесовщины и бесовских сил... Однако разделение и отсеивание не только необходимо, но даже и обязательно происходит, начинаясь еще в земной жизни, продолжаясь по ту сторону, пока не свершится «правда». Последние основания и последние результаты этой правды нам неизвестны. Но именно существование таких людей, как Андрей Белый свидетельствует в пользу того, что таинство отбора, отсеивания и очищения личности обязательно должно иметь место и обязательно свершится.